

ВСТРЕЧА И ПРОЩАНИЕ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ

© Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

Все помнят детскую песенку “В лесу родилась елочка”, в которой описывается и ее жизнь (“зимой и летом стройная, зеленая была”), и ее гибель (мужичок срубил ее “под самый корешок”), и возрождение: “Теперь она нарядная / На праздник к нам пришла, / И много-много радости / Детишкам принесла”. Песенка стала знаменитой, а елка вошла в литературу для детей (С. Маршак “Декабрь”, А. Толстой “Детство Никиты”, С. Михалков “Елка”, А. Резников “Лавина с гор” из “Приключений кота Леопольда”). Заметим, что в Советском Союзе празднование Нового года вокруг елки долгое время было под запретом.

Но в начале 40-х годов в русской поэзии появляется тема новогодней елки, и открывателем ее был Борис Пастернак, написавший сразу два стихотворения, озаглавленные в первых публикациях “На Рождестве” и “Елка” (1941). Затем автор изменил названия на “Вальс с чертовщиной” и “Вальс со слезой”, и эта замена, подчеркнув общность темы и ритма (четырёхдольник на дактилической основе), объединила их в диптих. В первой его части переданы впечатления ребенка, начиная со взгляда в замочную скважину на зажженную елку: “Это за щелкой елку зажгли” (возможно, Пастернак вспомнил блоковского “Сусального ангела”, который смотрел в щелку закрытых дверей “на разукрашенную елку и на играющих детей”) и кончая восторгами от елочного великолепия, шумного празднества и томительного предвкушения чуда. В тексте чертовщина лишь подразумевается, святочная, веселая, маски да ряженые. Но все-таки что-то тревожное проскальзывает в маскарадном веселье: “В этой зловещей сладкой тайге / Люди и вещи на равной ноге”. Все несется в польке и вальсе – вихрь “львов и танцоров, львиц и франтих”.

Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей,
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.

И елка как живая – “в поту”, “пьет темноту”, искрится, брызжет звездами, “все разметала, всем истекла” – и догорела дотла. В конце стихотворения гости разъезжаются, двери запираются, подступает мгла, “улицы зимней синий испуг”, сквозняк задувает последние свечи.

“Вальс со слезой” – наблюдения и раздумья взрослого человека, который, с одной стороны, признается в любви к новогодней елке (четыре раза повторяется рефрен “Как я люблю ее в первые дни”), а с другой стороны, представляет ее не просто ожившей, как в первой части, это “стыдливая скромница”, “волнующаяся актриса” и “отмеченная избраница”, которой уготована “небывалая участь”: “В золоте яблок, Как к небу пророк, / Огненной гостьей взмытъ в потолок”, т.е. елка становится символом Рождества. “Озолотите ее, осчастливьте” – и запомните ее навсегда, до скончания века, “Вечер ее вековечно протянется”. Как отмечает исследователь Д.Быков, “Жизнь – обманчивая сказка с хорошим концом, И всё христианство Пастернака – счастливое разрешение долгого страха и недоверия” [1].

Пройдут годы, и в самый тяжелый период своей жизни, незадолго до смерти поэт вновь вернется к теме новогоднего праздника и к образу елки как напоминанию о вечности (“Зимние праздники”, 1959), но противопоставит ее и прошлому, и настоящему, и будущему: “Будущего недостаточно, / Старого, нового мало. / Надо, чтоб елкой святочной / Вечность средь комнаты стала”. И хотя елка по-прежнему олицетворена, но нет в ней ни прелести, ни великолепия, ни избранности, как в “Вальсе со слезой”. Теперь она “трубочиста замаранной”, “напыжилась барыней”, и, как ее ни наряжай, “кажется дерево голым и полуодетым”. Исчезает и безудержное веселье, как в “Вальсе с чертовщиной”: “Ночь до рассвета просижена” (без танцев), лица каменные, губы сердечком (не улыбаются), в доме храп до обеда – атмосфера будничная, безрадостная. И даже солнце “село, истлело, потухло”. Это было печальное прощание с столь праздничным и светлым когда-то образом.

После Пастернака русские поэты не раз будут обращаться к теме новогодней елки, иногда отталкиваясь и полемизируя с ним, иногда продолжая его и перекликаясь с ним. Так, Булат Окуджава свое “Прощание с новогодней елкой” (конец 60-х годов) тоже начинает с любования ее красотой и выбирает похожий дактилический размер: “Синяя крона, малиновый ствол...” – и также одушевляет героиню, говоря с ней на “ты”: “Мы в пух и прах наряжали тебя, / Мы тебе верно служили, / Громко в картонные трубы трубя, / Словно на подвиг спешили”. Иронически обрисованы “мы” – кавалеры елки – “утонченные, как соловьи, гордые, как гренадеры”, предавшие свою даму. В “вечное празднество” неожиданно вплетается религиозный мотив в духе Пастернака, но не Рождества и святок, а распятия и воскресения: “Ель моя, ель, словно Спас на Крови”, “И в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет”. Одновременно возникает мотив утраченной любви, отсутствовавший у Пастернака. “Ель моя, ель – уходящий олень” сливается с женским “очарованным ликом” и оставляет “будто бы след удивленной любви, вспыхнувшей, неутоленной”.

Продолжение новогодне-елочной темы находим у Юрия Левитанского в сборнике “Кинематограф” (1970). Стихотворение “Как пока-

зять зиму” вначале кажется бытовой зарисовкой: женщина покупает на рынке елку и несет ее домой, но “елочкино тело вздрагивает над худеньким женским плечом”. И это живое существо стоит на балконе “как бы в преддверье жизни предстоящей”. А в рождественскую неделю елка красуется “в блеске мишуры и канители”, при свечах и “как бы в полете” (ср. с пастернаковским “взмыть в потолок”). В финале – елочка, “лежащая среди метели” во дворе:

Безлюдный двор
и елка на снегу
точней, чем календарь, нам обозначат,
что минул год,
что следующий начат.

Все подчеркнуто обыденно, естественно, и все же грустно, что елка выброшена за ненадобностью, и мы испытываем сожаление, “что за нелепой разной кутерьмой, ах, Боже мой, как время пролетело” (у Окуджавы была “суета”). А чтобы мы не грустили, Левитанский, по примеру Пастернака, присоединяет к этому стихотворению другое – “Диалог у новогодней елки” – о бале, о вальсе (тоже в дактилическом ритме) и жизнерадостном разговоре о том, что за зимой и метелями обязательно придут весна и лето.

Вспомнил о пастернаковских стихах и Александр Кушнер, поставив вопрос ребром: “Разве можно после Пастернака / Написать о елке новогодней?” и ответив четко и категорично: “Можно, можно! – звезды мне из мрака / Говорят, – вот именно сегодня”. Почему же можно и сегодня? Кушнер утверждает, что Пастернак писал, словно при Ироде, и “в его стихах евангельское чудо превращалось в комнатное что-то”, а переодетые волхвы противостояли советской власти. Сегодня о новогодней елке можно говорить по-иному: “А сегодня елка – это елка, / И ее нам, маленькую, жалко, / Веточка, как челка, / Лезет в глаз, – шалунья ты, нахалка” (у Блока в “Сусальном ангеле” “шалуньей девочкой” была душа).

Однако и Кушнер не выдержал шутивого тона, заговорив вдруг, как Пастернак, на высокие, вечные темы, хотя и не без иронии:

Нет ли Бога, есть ли Он, – узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, – за краем –
Нас устроят оба варианта.

По мнению Александра Арьева, “есть ли Бог, нет ли Его, по Кушнеру, вопрос слишком прагматический, чтобы быть страшным” [2]. В общем, такими же нестрашными выглядят у Пастернака и чертовщина, и вечность, и весь мир, в котором есть место чудесному преображению.

Наибольший интерес проявила к теме новогодней елки Белла Ахмадулина, написавшая о ней несколько стихотворений. Первое из них – “Елка в больничном коридоре” (1985) – о елке, попавшей в обитель страданий и смущенной этим. Тут и канун Рождества, и звезда Вифлеема, и названивает елочный колокольчик, и звучит молитва к Матери Божией, т.е. преобладают рождественские мотивы, намеченные у Пастернака.

В конце 90-х годов поэтесса создает целый цикл “Возле елки” и “Изгнание Елки”. В последнем она вслед за Б. Окуджавой прощается с елкой и тоже обращается к ней на “ты”, к тому же пишет слово “Елка” с заглавной буквы, как имя собственное: “Я с Елкой бедною прощаюсь: / ты отцвела, ты отгуляла”. Как и у Окуджавы, вина падает на людей, которые преподносят “доверчивому древу” ожерелья, “не упредив лесную деву, что дали поносить на время”. Среди безделушек ее убора особое место занимают съедобные игрушки, в частности, шоколадный “Дед Морозик”. По сравнению с предшественниками Ахмадулина усиливает мотив человеческой неблагодарности – “изгнание Елки, худой и нищей, в ссылку свалки”:

Ужасен был останков вынос,
круг соглядатаев собравший.
Свершив столь мрачную повинность,
как быть при детях и собаках?

Если Ю. Левитанский писал про лежавшую во дворе елку, то Ахмадулина просит прощения за ее гибель у родителя-ельника. “Тень Елки, прозрачно-живая”, преследует автора и во сне привидится то “другом разлюбившим”, а то “сам спящий – в сневиденье станет той, что взащей прогнали, Елкой”. Надеясь на “милость ельника”, поэтесса представляет, как Вербным Воскресеньем склонится она перед елью, как дождетсЯ Прощеного Дня и Чистого Понедельника и наконец услышит: “Воскресе!” Пожалуй, после всего этого религиозного экстаза концовка поражает своей сниженностью и самоиронией:

Не нужно Елке слов излишних –
за то, что не хожу к обедне,
что шоколадных чуд – язычник.

Казалось бы, в этом ахмадулинском стихотворении переплелись и совместились почти все мотивы, отразившиеся в разработке этой темы другими поэтами: языческая радость праздника вокруг нарядной елки, и прощание с ней, выброшенной на свалку, и чувство вины, и тайная любовь, и связь с Рождеством, и ожидание чудес. Можно ли еще что-нибудь добавить, чем-то еще дополнить?

Однако Ахмадулина опять берется за ту же тему и в цикле “Возле елки”, делает елку главной героиней, называет ее Божеством, а себя

“верноподданным язычником”, понимающим, что ельник отпустил свое дитя на казнь. На нее “напялят драгоценностей сверканье”, а после их отнимут; ею любуются, ее славословят, но “она грустит – не скажет нам, о ком”. Может, об отчей почве или как терзали ее топором – не родить ей больше шишек. Размышления о судьбе елки заводят поэтессу слишком далеко: к ассоциациям с нечистивцем-ханом и его наложницей, с атаманом-разбойником и его пленницей, с древними греками и великим Паном, с Плутархом и Врубелем и, что более обычно, – с Рождеством и Крещени

ем. Ассоциативный ряд замыкает тематическое кольцо: “в красе невинных кружев или рубищ / в дверь обречённо Божество вошло...” (“31 декабря: к Елке”).

А “Ночь возле Елки” служит как бы послесловием к предыдущему стихотворению, снижая его пафос. Автор явно посмеивается над собой: “Я, Елке посвящать привыкшая печали, / впадаю... – как точней? – в блаженность слабоумья”. В сущности, “Ночь” посвящена не столько елке, сколько поэзии и стиху, который “сам себя творит”, “добытчик и ловец”, за всем следит и воссоздает свой мир, где встречаются Щелкунчик и Мышиный царь, Альпы и Бежар, балет и Швейцария. Этот “вымыслов театр” сотворен воображением из елки, игрушек и скребущейся мышцы.

Пир праздника течет по всем усам.
Год обещает завершить столетье.
Строк главный зритель – загодя устал.
Как быть? Я упрямлю представленье.

Так XX век простился с новогодней елкой, воспел и оплакал ее. Кто снова вспомнит о ней в новом столетии?

Литература

1. Быков Д. Борис Пастернак. М., 2006. С. 293.
2. Арьев А. Царская ветка. СПб., 2000. С. 87.

*Цфат,
Израиль*